

Наступает пора для русского писателя вновь стать эхом народным...

Сейчас среди молодых и не в меру честолюбивых писателей принято заявлять манифесты. Только я, не читающий всего, знаю с полдюжины. Есть среди них совсем срамные, лобующиеся своим бесстыдством; есть грубые, "новорусские", с крутой лихостью расправляющиеся со "стариками", которые раздражают молодых уже тем, что свои книги старики не собираются забирать в могилу; есть манифесты пошлые, есть всякие. Не стоило бы обращать на них внимание, если бы на все лады не повторялся в них один и тот же мотив о смерти русской литературы. Молчать в таких случаях — значит вольно или невольно соглашаться с ним.

Не знаешь, кого больше и жалеть, когда снова и снова слышишь воззвания о кончине старой литературы и о чудесном рождении на ее обломках новой, идущей в ногу со временем и цивилизацией. Ту ли жалеть, над которой торопятся возвести могильный холм, или ту, которую подают на закуску? Почему-то жалко и отвергаемую, и насаждаемую. Одну — потому что при всем своем художественном блеске она не сумела напитать сердца читателей настолько, чтобы они не путались в добре и зле, и вторую — потому что она и заведена не для питающего действия. У одной не хватило удобрительных сил, у второй — молодая сила направлена на противоположные результаты. Преемное дело, натолкнувшись на неудачу, не подвинуто в должной мере, новое дело по самой своей разрушительной природе не может иметь долгого века.

Да это и невозможно — расчлнить литературу одной страны и одной нации, объявить ее прошлое закрытым, а настоящее единственно правильным. Такие попытки уже делались после социальных потрясений. И делались они единственно из обслуживания новой социальности. Закрывали Достоевского, Лескова, Бунина, пропускали сквозь цензуру Пушкина и Гоголя, отнимали духовное слово, объявляли вражеским национальное мышление. Но нацию отменить было невозможно. Ставили бетонную стену, наподобие Берлинской, между старым и новым, но стену сколько угодно можно было наращивать вверх, между тем как национальное пробивалось споднизу. Так, вопреки всем принятым мерам, явились Есенин и Шолохов. Есенина погубили, по нынешним меркам, мальчишкой, но мальчик этот успел показать себя национальным гением; Шолохова на весь мир оклеветали за то, что таким же мальчишкой он написал "Тихий Дон". Как будто у русского писателя в переломные времена есть возможность взрастить не торопясь. "Садовники", выращивающие новую культуру, изо всех сил следили, что всходит, что лелеять и что немедленно выдернуть с корнем. И надо было иметь глубокую национальную породу, вековые заделы, чтобы с прополкой так и не справились. Чужое не хотело и не могло укорениться, свое не могло не давать всходы.

Уроки 20-х годов были учтены в конце 80-х — начале 90-х, во времена нового переворота. Преемная коммуна, дитя Октября, легла на традиционную почву и в конце концов срослась с нею. Расчет был на то, что коммуна залатит общину своей идеологической и конструктивной тяжестью, а она просела в нее и стала заваливаться с боков нижней почвой. Я помню наш колхоз в глухой сибирской деревне в самую тяжкую послевоенную пору: обесиленный за войну, разоренный, скованный постоянным надзором, придавленный планом, он жил одним — как спасти людей. Вся деревню от мала до велика можно было по тогдашним суровым порядкам отправлять в лагерь: это была тайная организация собственного спасения, участвовавшая в сокрытии, невыполнении и т. д. Положенное государству отдавалось, работала сверх всякой меры... И когда говорят о природной лениости русского человека, я вздрагиваю так, будто меня ожигают кнутом: посмотрели бы вы на этого "лентяя", изнемогавшего от надсады, чтобы и государство поднять, и детей сохранить и выдвигать в люди. Дело не в подневольном труде... Теперь нашлись баталлисты, которые и ратную службу в Великую Отечественную описывают как службу рабскую. Люди прекрасно понимали, что за Россию, за свою Россию, можно заплатить и чрезмерную цену. И это было какой-то общий ток — вывести в люди, дать образование нам, детям глубинки. Объясняется это, как правило, одной причиной — выведи из бедности, из бесправности, из глухомани. Но была и другая: неосознанная, но мудрая и охранительная тяга наверх, чтобы на-

циональное направлялось национальным. К тому дело и шло.

И деревня наша, если бы не издерживала ее реформами, не по разу одна другой противоречивыми, сбивающими только что направляющийся ход, деревня наша и колхозом стояла бы крепко. Ибо шла к тому, чтобы превратить навязанное в естественное, "коллектив" в "мир", приказной порядок пусть в не-решительное, но все-таки народовластие.

В России удавалось отменить крепостное право, частную собственность и взамен повсеместно устроить собственную коллективную и вновь разделить на части, у нас не однажды убивали монархов, а затем и все семейство последнего самодержца, у нас принято и после естественной смерти свергать и вновь воздвигать авторитеты, немецкое засилье сменялось у нас французским, а французское — еврейским, последнее срослось с американским — в России

стись, но каждый из них без раздумий выбрал смерть: как это спастись от родного брата, зачем такая жизнь? Ульяна Муромская, владевшая огромным богатством, все до нитки распродала и раздала в лихую годину бедным, заставляла тем самым голодать детей и сама, как зверь, глодала древесную кору: если другим плохо, почему мне должно быть лучше? Неотмирность, полное незнание корысти делали у нас святыми юродивых. Россия никогда не жила хорошо, но случались и у нас недолгие периоды благоденствия, она шла к нему и одновременно отталкивалась: в России пагуба для души проходила не ниже, а выше достатка. Русский народ в отличие от других (не всех, но многих), составляющих сумму, составлял организм, срашенность. Организм вялый, растянутый по обширной земле, неповоротливый, пока указывают ему чуждые, не из него выработанные пути, и сразу способный стать мускулистым, энер-

Призвание — это призванность, заланная на жизнь. Шолохов, Твардовский, Абрамов, Шукшин, Носов, Белов могли иметь другие имена, но они не могли не явиться, ибо именно так наступила пора считать судьбу и душу народную. Именно они лучше всего отвечали случившимся в народе переменам. Одновременно существовала и другая, и третья, и четвертая литература, частью ползлая, талантливая и все-таки сторонняя, но большей частью составляющая произведения печатного станка — требовательная, навязчивая, пресмыкающаяся и злая. Как все, что не имеет чести быть родным и на этом основании требует отменить родственность. От них, от приемных ветвей обширной советской словесности, и произошла наглая барышня, посягающая сегодня на главное место и решившая похоронить русскую литературу вовсе.

Но чтобы похоронить, надо убить. Ученные последней апрельско-авгу-

украшением ее, которое можно сорвать, а выговаривающейся духовной судьбой. Но если бы даже случилось так, что Россия перестала быть Россией, литература и тогда еще десятки лет продолжала бы любить ее и славить древней незатухающей любовью.

Не она умерла, а мертво то, что выдает себя за литературу, — приторная слащавость, вычурная измышленность, пошлость, жестокость, рядящаяся под мужество, физиологическое вылизывание мест, которые положено прятать, — все, чем промышляет чужая мораль и что является обертками с чужого стола. Таким обществом наша литература брезгует, она находится там, где пролезают отечественные и тропы, и вкусы.

Сейчас не требуется писать много. Приходится признать, что читать стали в десятки раз меньше, чем десять лет назад. Это объясняется и бедностью, когда от куска хлеба не удается урвать ни копейки на книги, и дурным качеством навязываемых книг, и невольной виной каждого за попушение злу. Попустила читающая Россия, и теперь, отворачиваясь от лжеучителей, она отвергает и кафедру, к которой они выходили. Кафедра (назовем так литературу) допускала разные мнения, но разноречивость в переломные моменты способна восприниматься только с одним знаком. Чтобы вернуть доверие к литературе (а это пришлось делать и после революции 1917 года), писать надо так, чтобы нельзя было не прочитать, подобно тому, как нельзя было не прочитать "Тихий Дон". Последняя революция, либерально-криминальная, самая подлейшая из всех, какие знал мир, столкнула Россию в такую пропасть, что народ еще долго не сможет подсчитать свои жертвы. В сущности, это было жертвоприношение народа, не состоявшееся по плану, но и не оконченное. Естественно, что литература вместе с Россией в первые годы остановилась в растерянности перед картиной изощренной расправы; естественно, что художники вынуждены были пойти на прямые линии, публицистические разъяснения того, что происходит. Теперь это уже позади: и разъяснять не надо, и народ берет свое место. Наступила пора для русского писателя вновь стать эхом народным и не бывавшее выразить с небывалой силой, в которой будут и боль, и любовь, и прозрение, и обновленный в страданиях человек.

Мы оказались втянуты в жестокий мир законов, каких прежде не знала наша страна. Столетиями литература учила совести, бескорыстия, доброму сердцу — без этого Россия не Россия и литература не литература. Но одно, как теперь замечается, не добавляла она к этим мудрым наставлениям — одно, в чем давно явилась необходимость и без чего самые славные добродетели начали провисать до опасной расслабленности. Это волевой элемент — как элемент зарядной батареи. Он был в той же военной литературе, но в общем ряду ценностей для русского человека оставался на десятом месте. С учетом того, что он ослаб и окислился, и вычерчивались планы обращения с великим народом. Нет воли — в неволе; есть воля — на воле. Пора вспомнить это старинное правило и литературе. Народная воля — не результат голосования (вот и еще одна подмена), а энергичное и соединенное действие в защиту своих интересов и ценностей в защиту, в конце концов, своего права на жизнь. К нашим книгам вновь обратятся сразу же, как только в них явится волевая личность, — не супермен, играющий мускулами и не имеющий ни души, ни сердца, на мясной бифштекс, приготавливаемый на скорую руку для любителей острой кухни, а человек, умеющий показать, как стоять за Россию, и способный собрать ополчение в ее защиту.

Россия — многонациональная страна. Я говорю о русской литературе по праву русского писателя, ни на минуту не забывая при этом, что российские малонациональные, в сравнении с русской, литературы, какую бы роль они на себя ни брали, имеют схожие беды и задачи. Не надо забывать и то, что все революции с чужим душком имеют антинациональную направленность, для России — ступенчатую. Наша нравственная грамота до таких истин не доходит, а грамота политическая и властная во всем мире их скрывает.

Литература может многое, это не раз доказывалось отечественной судьбой. Может — худшее, может — лучшее, в зависимости от того, в чьих она руках. Но у национальной литературы нет и не может быть другого выбора, как до конца служить той земле, которой она была возвращена.

Валентин РАСПУТИН:

МОЙ МАНИФЕСТ

Соб. Россия. - 1997. - 27 февр. - с. 2.

словно бы ни в чем не было равновесного положения, постоянно она кренится с боку на бок и развивалась не поступательно, а круговыми ходами. Но вглядимся внимательно: ее тянули в сторону, а она возвращалась к себе, ее разрывали, ломали — она страдалась; ее степи топтали чужие подковы и чужие гусеницы — она вздымалась горой и сбрасывала непрошенных гостей. Удивительная живучесть и странная сила, состоящая, казалось бы, из одних слабостей и ошибок. Триста лет после Петра жизнь на излом, вековые проклятия вместе с тайной дипломатией "цивилизованного" мира и "цивилизованной" элиты изнутри — и одновременно хвост европейских кавалеров за "немой" и "темной", предлагающих руку... Но ни разу не поддалась она ни на соблазны, ни на угрозы. Страхнет эти чары вместе с игом и теперь, если при последнем резком перекиде справа налево не повредила она место центровки.

Центровкой, то есть приведением себя в безопасное положение, для русского человека всегда были родной дом и родной дух. Дом — как природная историческая обитель, удобная только для нас, в утлах своих и стенах, повторяющая нашу фигуру. И дух — как настрой на божественное и земное, степень нашего тяготения к тому и другому, как-то незапечатленная дробь с числителем и знаменателем, стремящаяся к цельности. То, что у нас над чертой, у других народов может быть под чертой, в зависимости от того, кто как сложился. И это естественно: у каждого народа свое значение в мире. Но неестественно и непонятно, почему чужой знаменатель отрицает наш числитель и требует нашу двусоставность поменять местами. Это и неестественно, и нетерпимо.

Можно ли русский народ назвать народом духовным, видя его обездоленность, нестройность, порывистость то к одному, то к другому, то к небесному, то к земному, его склонность к раздорам и словно бы потребность жить на краю жизни? Если вы назовете другой, более духовный народ — значит нельзя. Русский человек занят духом, то есть стал вмещать духа, но по многосемейности своей по-разному; отсюда все его подвиги высшего и низшего порядков. Россия — страна братьев Карамзовых, издавна и до сих пор. Ни с кого в мире, я думаю, душа не требует так сурово, как с русского человека. Братья Борис и Глеб, первые наши святые, были предупреждены о коварстве и злом умысле третьего брата и могли спа-



На снимке: Валентин Распутин и Георгий Свиридов.

гичным, красивым — как только цели совпадают с его природной и духовной потребностью и начинается прибавление в сущностном росте.

Отсюда, из духовного склонения Руси, и особая роль в ней литературы. Литература всегда была у нас больше, чем искусство (даже в упоминаниях она стояла отдельно и на первом месте; так и являлись: литература и искусство) и являлась тем, что не измышляется, а снимается в неприкосновенности посвященными с лица народной судьбы. Русская литература с XIX века особенно расцвела и украсилась художественно и чувственно, отсыкала для выговаривания невыговариваемого слова тончайшей выразительности, но осталась продолжением древнего отечественного летописания под первенством народописания. Известно, что у одних литературных древностей сохранились создатели, у других — нет, но в том и другом случае создатели остались там, в своем времени, между тем как создания их продолжают жить вместе с живой Россией. Мы будем еще долго спорить, кто написал "Слово о полку Игореве", но найдись вдруг чудесным образом автор, мы бы, пожалуй, испытали разочарование, потому что он оказался бы излишней прибавкой к творению народному. Народной судьбой была Отечественная война 1812 года, описанная Толстым, народной судьбой была духовная Русь Достоевского. И чем гениальнее явились в них авторы, тем более они стали народными, сотканными по-пчелиному в ульях национального духа. Достоевский, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Есенин велики Русью, которая выразила в них себя и которым вручила свои дары. Неверно рассматривать их в приближении или отдалении от России, они внутри, сотканы из ее клеток.

стивской революцией уроки Октября заключались в том, что мало взять власть, мало запустить новую идеологию и поменять хозяйня собственности — все это было и после Октября и как из-под пальцев ушло. Надо разрушить то, куда ушло и откуда неожиданно вновь принялось взниматься совершенно забытое и отмененное русское мышление. Тысячелетняя Россия оказалась сильнее — за нее и решено было взяться. А для этого поднять ее из глубин наверх, встретить в Кремль и, сделав там служанкой, взяться за полное ее преобразование — чтобы сама на себя не была похожа, чтобы и духу от нее на оставалось. Под руку явилось самое мощное оружие "перековки" — телевидение, всеобъемлющее и бесстыднейшее.

Подняли из укрытия национальную Россию, ограбили и раздели ее донага — вот она, "русская красавица".

И невдомек им, лукавцам (а часто и нам невдомек), что это уже не так, что, не выдержав позора и бесчестия, снова ушла она в укрытие, где не достанут ее грязные руки. А та, что осталась, есть только похожест; лукавцы и ловкачи вознамерились заменить настоящую Россию ряженой, вульгарной и бесстыдной — они ее и получили. Подлинная, хранящая себя, стильная, знающая себе цену, отступила, как партизаны в леса, в свое тысячелетие. Туда для чужаков бездорожье и заросли, какие были при Наполеоне и Гитлере, и Сусанины по-прежнему на пути, обратный же путь до возвращения наезжен.

И когда принимаются уверять с наслаждением, что русская литература приказала долго жить — не там высматривают нашу литературу, не то приносят за нее. Она не может умереть раньше России, ибо, повторю, была не